ИРИНА МУРАВЬЁВА

ВЕЧЕР В ВИШНЁВОМ САДУ

Ирина Лазаревна Муравьева

Вечер в вишнёвом саду (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4887850
Вечер в вишнёвом саду : рассказы: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-60508-8

Аннотация

Бог всегда рядом. Он готов подарить чудо, если кто-то молит его об этом. И чудом этим может стать любовь, причем там и тогда, когда она совершенно невозможна, – в тюрьме, незадолго до казни («На краю»). Чудом может стать случайное на первый взгляд спасение от вражеской пули («Кудрявый лейтенант»). Чудом способна стать сама смерть, если только ей дано исцелить и успокоить душу («Сирота Коля»). В этот сборник Ирины Муравьёвой вошли повести и рассказы, хорошо известные и публикующиеся впервые, в которых особенно остро проявляется гуманистический пафос писателя.

Содержание

Сирота Коля 4
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Ирина Муравьева
Вечер в вишнёвом саду (сборник)

Сирота Коля

– Ну, вот вам наш Николай, – сказал директор и подтолкнул его к сидящим на диване.

Их было трое: старуха, молодая и мужик. У мужика был яркий галстук. Все они вскочили. Молодая крепко, словно утюгом, погладила его по голове очень горячей ладонью. Колька так низко опустил глаза, что они заболели.

Старуха сказала:

– Ну, давай, Коля, знакомиться. Это твои родители, а я твоя бабушка. Лариса Владимировна.

Колька громко сглотнул слюну, но глаз не поднял.

– Ты не стесняйся, Николай, – прогудел директор, – ты поговори с мамой, с отцом. С бабушкой познакомься. А я пойду на урок, меня ждут. – Он прокашлялся и вышел.

Директор был ничего. Он не дрался, не напивался при всех, а прошлым летом привез в детдом ведро клубники – на даче у него выросла клубника. Ее съели, не успев почувствовать вкуса. Потом все ходили с красными рожами, как в крови.

– Ну, Николай, – громко сказал мужик в ярком галстуке, – что ж ты на нас и не посмотришь? Садись рядом, давай поглядим друг на дружку, познакомимся…

– Ты, Коля, не бойся, – перебила его старуха, – мы тебя не съедим, мы тебя искали, ждали…

Молодая молчала. У Кольки так тяжело и противно стучало внутри, что они, наверное, слышали этот стук.

Мужик подтянул его к дивану, Колька вжал голову в плечи и боком сел между молодой и старухой.

– Не запугивай его, Леня, – прошептала молодая и опять погладила его по голове очень горячей рукой, – мальчик не привык…

Колька решился и поднял глаза. Сначала все показалось ему красным, потом ярко-зеленым. Когда краснота и зелень исчезли, он увидел этих троих словно через лупу. У молодой было испуганное лицо с выпуклыми черными глазами. Она была похожа на козу. И ресницы как у козы, и ноздри. Кудрявая, волосы черного цвета. У бабки – красные щеки, нос – пуговкой. Мужик – широкоплечий, с большими руками, сзади из-под ворота рубашки торчат густые волосы.

«Лето, – подумал Колька, – а он как в шубе парится…» И опять опустил глаза.

– Мы – твои родители, Коля, – сказал мужик, – мы тебя потеряли, когда ты был годовалым.

Колька знал, что все они говорят одно и то же. Когда на прошлой неделе толстая тетка в туфлях с блестящими пряжками пришла за Катей-дармоедкой, она тоже наплела, что потеряла ее, когда Кате был год.

– Тебе был год, Коля, – отчетливо сказала молодая, похожая на козу. У нее был громкий, резкий голос. – Шел сильный снег. Бабушка оставила тебя спящего в коляске. И зашла в магазин. Когда она вышла, тебя в коляске не было.

– Почему? – спросил Колька.

– Украли! – вмешалась бабушка. – Украли, Коля! Одна женщина, у нее не было своих детей, она тебя украла и переехала с тобой жить в Подмосковье. А потом сдала тебя в детский дом как своего собственного сына. Но мы тебя разыскали.

– А откуда вы знаете, что это я? – спросил Колька.

Внутри у него по-прежнему сильно стучало, но надо же было разобраться.

– Ты, ты! – заговорили они разом. – Можешь не сомневаться! Хоть ты и изменился за восемь лет, взрослым совсем стал, но мы тебя узнали, а вот ты нас…

И они опять погладили его, потрепали, похлопали.

– Вы что, меня к себе жить заберете? – спросил он, и стук внутри остановился.

– А как же! – быстро сказала бабка. – Ты будешь жить дома и в школу хорошую пойдешь, мы будем вместе читать, ходить в кино, в цирк. Ты любишь цирк?

– Люблю, – хрипло сказал Колька. – Я по телевизору видел, у нас телевизор новый.

Телевизор был не новый, а старый, но все называли его новым, потому что директор отдал свой собственный взамен того, который какой-то крутой подарил детдому. Тот действительно был новым. Колька видел огромный ящик, который привезли на машине, и потом он целый день стоял рядом с директорским кабинетом. А вечером директор увез его к себе. Но зато теперь у них все-таки был телевизор, и детдомовские хвалили директора. Он ведь мог и старый не отдавать, и новый себе взять. Что, его поймают, что ли?

– Ну, вот видишь, – сказала молодая и заулыбалась, – цирк ты любишь. А в детский театр хочешь пойти?

– Если отметки будут хорошими, – перебила настырная бабка, – все зависит от успеваемости.

Мужик в густой волосатой шубе под рубашкой захохотал и погрозил Кольке пальцем.

– Не советую тебе, Коля, халтурить, не советую!

– Вы меня сейчас заберете? – спросил Колька, не поднимая глаз.

– Сейчас не получится, – ответил мужик, – документы нужно оформлять, то да се. Но ты не волнуйся! Никуда мы не денемся!

Ночью Колька не мог заснуть. Страх и радость были такими огромными, что давно перестали умещаться в нем и заполнили сначала комнату, потом коридор, потом полезли на улицу и захватили не только все дома и спящих в них людей, но даже тот кусок неба со звездами, который был виден ему через форточку.

Посреди ночи пьяный Скворушка задышал в лицо перегаром.

– Ну, говнюк малолетний! – прошептал он. – Пропили тебя? Теперь держись! Я тя!.. – Он выругался и больно крутанул Кольку за ухо. – Иди, говнюк малолетний, туалеты чистить! А то вы там блюете, говнюки, а Степан Евгеньевич подтирай?

Он вытащил его из постели левой здоровой рукой. Правая – короткая, отсохшая, в черной кожаной перчатке – болталась в полупустом рукаве.

Идти надо было через кухню и длинный коридор. В кухне мертво чернели пустые котлы. На столе блестел замороженный кусок масла. Колька сглотнул слюну.

Скворушка нарочно привел его в девчоночью и сунул в руки осколок бутылочного стекла.

– Отскребай, говнюк! Чтоб ни пятнышка!

Носком башмака показал на линолеум с присохшими потеками. Колька привычно стал на колени и начал скрести. Из большого пальца сразу же потекла кровь.

– Чтоб мне ни пятнышка! – заорал Скворушка и приложил ко рту начатую бутылку. Закинул мохнатый кадык. – Чтоб мне ни пылинки, сирота казанская!

Колька скреб изо всей силы. Кровь лилась на пол.

– Слизывай! – заорал Скворушка и стал багровым от злости. – Пачкаешь тут дерьмом своим! А ну, слизывай! Хирургию устроил!

* * *

Директор сказал, что мама, отец и бабушка Лариса Владимировна заберут его в среду вечером. Значит, осталось еще три дня. Воскресенье, понедельник, вторник. Среда не считается, в среду его заберут. Они ему не наврали. Они его искали и нашли. А тогда шел сильный снег. Бабка, дура, пошла в магазин. Он спал, годовалый пацан. Чужая баба (он видел перед собой пьянчужку с заклеенным глазом, которая вечно торчала на автобусной остановке) украла его из коляски. Унесла к себе в Подмосковье. Мать с отцом плакали. Бабка, наверное, тоже. Искали его, бегали, аукали. Теперь нашли через восемь лет. Заберут к себе. В цирк будем ходить. В детский театр.

В воскресенье утром по телевизору показали фильм «Дикая собака динго». После фильма у детдомовцев было плохое настроение: хотелось сломать что-нибудь, разбить, поколотить друг друга. Плакали здесь редко и за слезы ненавидели. В восемь вечера дежурные учителя заперлись в директорском кабинете, откуда захрипела Алла Пугачева, зазвенели стаканы, а потом дверь отворилась, выскочил Скворушка, без пиджака – отсохшая культя наружу, – и заорал, брызгая слюной во все стороны:

– Спать всем быстро! А ну всем спать, говнюки малолетние!

Детдомовские присмирели, со Скворушкой никто не связывался. Только Тамарка-бакинка близко подошла к нему, моргая своими подслеповатыми, мохнатыми, как пчелы, глазами, и выдохнула срывающимся басом:

– А ну, отвернитесь! Не видите, мы раздеваемся?

А посреди ночи из девчоночьей комнаты донесся лай, вой, крик, кто-то визжал, захлебывался. Прибежали дежурные по интернату: Аркаша-Какаша и Тоня Недорезанная, а за ними вдрызг пьяный Скворушка в штанах, мокрых от вина. Тамарка-бакинка плавала в крови, раздирала на себе короткую ночную рубашку с клеймом на животе и, дико выпучив лошадиные белки, кричала «а-а-а», потом переходила на визг и лай, набирала воздуху и опять кричала. Тоня бросилась вызывать «Скорую», а Какаша начал выпихивать в коридор детдомовских. Наконец подъехала «Скорая», прибежали два парня в халатах поверх пальто, втащили носилки. Кровь из Тамарки хлестала так, словно в ней открылся кран.

Вся простыня, одеяло и пол перед кроватью стали черно-красными, а кровь все лилась и лилась. Детдомовские, не обращая внимания на Аркашку и Тоню (пьяный Скворушка куда-то исчез), стояли и молча смотрели.

Никто, даже самые маленькие, не ушли из комнаты.

Парни в халатах, торопясь, перетянули Тамаркину руку резиновыми жгутами и всадили туда огромный шприц, потом начали запихивать между ее раздвинутыми дрожащими ногами куски ваты. Тамарка перестала кричать и захрипела. Изо рта у нее потекла пена.

– Уберите детей! – закричал один из парней. – Вы что, идиоты, не понимаете, что здесь происходит?

Тамарку переложили на носилки и набросили на нее колючее одеяло. Парни перемигнулись, крякнули, подхватили носилки и осторожно понесли их вниз по лестнице. Тамарка замолчала и лежала как мертвая.

Щеки ее стали странного, почти синего цвета. Колька посмотрел под ноги и увидел на полу кусок чего-то дрожащего, скользкого, похожего на сырую печенку. Он понял, что это вывалилось из Тамарки, когда ее укладывали на носилки, и его затошнило. Их разогнали по кроватям, но спать никто не мог. Наутро бледный, как мука, директор кричал в телефонную трубку: «Откуда я мог знать», «Никогда ничего подобного» – так громко, что слышно было через закрытую дверь. Приехал чужой дядька в кожаном пиджаке, щека залеплена пласты-

рем, и прошел прямо в директорский кабинет. Через десять минут туда гуськом вошли все учителя, кроме Скворушки, которого уже увезли куда-то на другой машине.

К середине дня весь детдом – включая самых маленьких, восьмилетних, – знал, что Тамарка-бакинка умерла в больнице, потому что воспитатель старшей группы Скворушка сделал ей ребенка, и, начиная с лета, два раза в неделю, Тамарка возвращалась в спальню только под утро, вся в засосах, растрепанная, красная, и пахло от нее, как из винного магазина. Кто-то из девочек громко сказал незнакомое слово «выкидыш», и Колька вдруг понял, что окровавленная печенка на полу и была куском этого самого «выкидыша». Тамарка что-то сделала с собой, чтобы ребенка не было, он стал мертвым внутри Тамарки и вывалился из нее вместе с кишками. Все это Колька понял, конечно, но ему не стало менее страшно оттого, что он все понял.

В понедельник Тоня Недорезанная собрала детдомовских в самой большой комнате, которая называлась актовым залом (в углу пылилось сморщенное знамя!), и сказала таким голосом, словно она только что научилась говорить:

– Ребята, у нас случилось большое несчастье. После тяжелой болезни скончалась ученица девятого класса Тамара Тебуллаева.

– Какой болезни? – гаркнул Сенька по кличке Ханыга. – Ничем она не болела! Скворец ее… – И выкрикнул слово, которое все знали, и Колька тоже.

Недорезанная сделала вид, что не расслышала, и продолжала, обращаясь к сморщенному знамени в углу:

– Дорогая Тамара! Обещаем тебе никогда не забывать тебя и постараемся быть такими же хорошими, честными и отзывчивыми, какой была ты…

Колька вспомнил, как неделю назад Тамарка-бакинка устроила темную другой девчонке, Любке, которая залезла к ней в тумбочку за хлебом. Тамарка избила Любу так, что та целый день не вставала с кровати, а когда встала, на нее было страшно смотреть.

– Завтра, – громко проглотив слюну, сказала Недорезанная, – мы проводим Тамару Тебуллаеву в последний путь…

Утром гроб привезли из морга и поставили в актовом зале.

Решили сделать торжественные проводы, чтобы отвлечь внимание детдома от причины Тамаркиной смерти. У гроба стоял сгорбившийся, маленький директор в черном костюме. У него тряслись руки. Рядом с директором, словно приставленный к нему конвой, возвышались две сердитые грудастые женщины в очках. Директор начал было говорить, но споткнулся, затрясся и заплакал, показывая рукой на то, что было в гробу. Больше всего на свете Колька боялся, что нужно будет подойти и заглянуть внутрь. Заиграла печальная музыка, и детдомовские потянулись прощаться.

Подходили по одному, замирали над мертвой Тамаркой, отходили и возвращались в линейку. Все были испуганы, пришиблены и не произносили ни слова.

Колька подошел предпоследним. В гробу лежала незнакомая старуха с ярко накрашенными щеками и губами. Только пушок над верхней губой, мохнатые ресницы и остатки малинового лака на ногтях говорили о том, что когда-то эта старуха была Тамаркой. От страха Кольку качнуло вперед, к самому гробу. Чтобы не упасть, он вытянул вперед руку, ища точку опоры, и дотронулся до ледяного и гладкого. Это был Тамаркин палец, прикрытый розовой гвоздикой.

«Значит, вся она, – ужаснулся Колька, – вся холодная, как этот палец, холоднее снега, холоднее льда, – и совсем по-другому, потому что снег и лед – живые и, если подержать на них ладонь, начнут таять и станут водой…»

На следующий день его забрали домой. Директора не было, завуча тоже. Трое незнакомых людей, которых он уже неделю настойчиво называл про себя жуткими словами «мать», «отец», «бабушка Лариса», приехали на такси. Колька стоял, прижавшись лбом к стеклу, и

почти ничего не видел – так обморочно и больно колотилось сердце. Он только разглядел, что мать была в большой синей шапке.

Ноги его приросли к полу, и поэтому, когда Аркаша-Какаша приоткрыл дверь и пробормотал: «Давай выходи, Николай», он не тронулся с места.

– Ну, вот и мы, Коля, – твердым громким голосом сказала женщина в синей шапке, – собирайся, пойдем домой.

Она крепко взяла его за руку с одной стороны, отец – с другой. Бабушка Лариса забежала вперед, словно боясь, что ее забудут.

– Попрощайся со своими друзьями, Коля, – приказала мать. – Мы подождем тебя внизу. – Понизила голос: – Пусть он чувствует себя свободным. Если мы будем рядом, он не сумеет произнести того, что нужно.

Колька ничего и не произнес. Козел и Самолет играли в карты на кровати, Хрипун спал, остальных просто не было. Пошли, как всегда, в город поживиться. Колька постоял в дверях, посмотрел на них, а они на него.

– Чего уставился, недомерок? – спросил Козел.

– Так, – ответил Колька.

– Гони четвертак, – пробормотал Самолет, и Колька закрыл за собой дверь.

В коридоре ему велели снять ботинки. Квартира была большая и вся блестела. На одной стене – зеркало, на другой – картина. Красный ковер, синий ковер, потом цветы, много цветов, и тоже блестят. На потолке разные стекляшки. Люстры.

– Вот мы и дома, Коля, – сказал отец и почему-то засмеялся, – проходи, сейчас мы тебе покажем, где твоя кровать, шкаф, все дела.

Его привели в комнату поменьше, чем та, первая, и он увидел кровать под клетчатым одеялом, рядом – еще одну кровать, розовую, с подушками, письменный стол, лампу с выкрутасами, вещи какие-то, фотографии.

– Это ваша с бабушкой комната, – сказала мать. – Тут все, что тебе нужно: твоя тумбочка, полка для любимых книг, здесь ты будешь делать уроки. А пока что иди в ванную, умойся, и будем обедать.

Ничего не понимая, он пошел туда, куда она сказала, и увидел такое, что даже зажмурился: белое-белое, много разных полотенец, зеркало, разноцветное мыло и пахнет так, что голова кружится. Он прислонился затылком к стене и тут же услышал голос Скворушки: «Наблевали в туалете, говнюки, а кто подтирать будет?» Тогда он изо всей силы затряс головой, и голос Скворушки кончился.

Котлета с картошкой, свежий огурец.

– Хочешь еще? Так нельзя отвечать, Коля. Что значит «хочу»? Нужно сначала сказать «спасибо», а потом уж «хочу». Хочешь еще котлету? Что ты молчишь? Скажи: «Хочу, спасибо» или «Большое спасибо, хочу».

– Дай пожрать парню, с воспитанием можно повременить.

– Пожалуйста, Леня, не делай мне замечаний при ребенке, если тебе что-то не нравится, скажешь потом. Ну, так что, Коленька: еще котлету?

– Нет.

– Почему нет, ты же хотел?

– Я тебе говорю, ты его запугала, парень только-только вырвался, у него небось все поджилки трясутся, а ты с глупостями.

– Леня, я просто сейчас встану и уйду! Если ты еще раз посмеешь сделать мне замечание при ребенке, я умываю руки. Это базис, понимаешь? Это нужно застолбить с самого

начала. Чувство благодарности, правдивость и чувство уважения к старшим. Все остальное надстраивается. Так что, Коля, еще котлету?

– Хочу, спасибо.

– Вот молодец. Видишь, как просто.

Отец передернулся, отодвинул свою тарелку, встал и ушел. Бабка и мать переглянулись. У матери стало красное лицо, у бабки – белое.

Потом бабка побежала на кухню и вернулась с огромным тортом, который он видел только в кино и на витрине. Отец тоже пришел. Мать сжалась.

Отец положил руку ему на плечо. Рука была как железная. Только бы они не передумали, не выгнали меня. Очень хочу, спасибо, очень, спасибо большое, большое, хочу.

…Ночью он увидел Тамарку-бакинку. Ресницы ее бросали тень на белые щеки. Тамарка стала вновь похожей на саму себя, только она уже не была той дикой, свирепой Тамаркой, которая до крови избила Любку, укравшую у нее хлеб. Она сидела на коленях у седого старика с очень добрыми глазами и плакала. Сквозь слезы она бормотала ему что-то на незнакомом языке, но Колькина душа понимала каждое слово.

«Дед, – захлебывалась Тамарка, – я бросила тебя и побежала, потому что боялась, что они надругаются надо мной. А потом я вернулась, дед, но ты был уже мертвый, и рот твой был забит землей. Я легла рядом и хотела умереть, потому что, кроме тебя, у меня никого не было. Но они меня вытащили и поволокли, а потом я ничего не помню…»

Старик прижимал к себе Тамаркину растрепанную голову и стонал.

«Я попала в Москву, и этот грязный козел сделал то, чего не сделали даже они… Как я могла жить после такого стыда? Как бы я посмотрела тебе в глаза, если бы ты не умер, дед?»

Колька не выдержал и закричал во сне – настолько жалко ему стало плачущую Тамарку и доброго старика, которого и Колька хотел бы назвать «дедом», если бы только тот его услышал.

От его крика в доме переполошились, зажгли свет. Первой вскочила бабушка Лариса, спавшая на своей розовой кровати в той же самой комнате, за ней прибежала мать Вера в кружевном халате, с блестящим от жира чернобровым лицом.

– Кричит! – говорила взволнованно бабушка. – Бужу – не просыпается! Растолкала с трудом, посмотри на него! Горит ребенок, жар!

– Врача надо, скорее «Скорую»! – забегала мать и схватила телефонную трубку.

– Не надо, – грубо оттолкнул ее подоспевший, заспанный и злой отец и, как перышко, вынул Кольку из постели, – ты чего, Николай? Приснилось что-нибудь?

У Кольки громко застучали зубы.

– Ну, ладно, ладно, – смягчившись, сказал отец, положил его обратно на кровать и накрыл одеялом. – Воды хочешь? Принеси ему водички, Вера.

Прошло две недели. Колька постепенно привык к тому, что у него есть отец и мать. Если бы его, не дай бог, спросили: «Любишь их, Коля?» – он бы, не задумываясь, ответил: «Люблю».

Но что такое «люблю», он не смог бы объяснить, потому что, по привычке чувствовать страх, он и сейчас его чувствовал, в то время как любовь болталась где-то на стороне и страху не мешала.

Больше всего он боялся, что отец и мать передумают жить с ним в одной квартире и отдадут его обратно в детдом. Еще он боялся, что обнаружится ошибка и станет известно, что их родной сын вовсе не Колька, а другой парень.

Бабушка Лариса Владимировна была воспитательницей в детском саду. Не так давно она вышла на пенсию и стала помогать своей единственной дочери Вере вести домашнее

хозяйство. Несмотря на относительную молодость, Вера уже защитила кандидатскую диссертацию на тему «Возможности преодоления детских травм» и работала в Ленинском педагогическом институте, где три года назад встретила своего будущего мужа Леонида Борисовича Бабаева, доктора наук и тоже специалиста по психологическим травмам у детей и подростков.

Леонид Борисович считался старым холостяком и вовсе не собирался жениться. Но когда волевая и одновременно застенчивая Вера пригласила его к себе домой на чашку чая, Леонид Борисович оказался приятно поражен богатой и ухоженной квартирой в Мерзляковском переулке, прекрасной мебелью, коврами и картинами. На его удивленно приподнятые брови мать Веры, хлопотливая, приветливая женщина, не такая уж старая, но совершенно не молодящаяся и поэтому казавшаяся значительно старше своих лет, рассказала, что ее покойный отец был грузинским артистом, до того похожим на Сталина, что его даже гримировать было незачем. За это сходство артисту хорошо платили, а на съемки возили по ночам и только на правительственной машине с затемненными стеклами. После смерти Сталина Верин дед почему-то решил, что теперь он и есть вождь и учитель, и стал приставать к прохожим на улицах, демонстрируя хищный профиль и улыбку. В конце концов обезумевшего актера пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных, где он и скончался, до последнего дня называя себя Иосифом Виссарионовичем и беспокоясь за положение на Сталинградском фронте. После его смерти жене и дочери осталась просторная квартира, завешанная коврами, как грузинский замок.

Бабка (то есть дочь) ненадолго вышла замуж и родила Верочку, потом разошлась с мужем, потом похоронила свою собственную мать, вдову многострадального артиста, и целиком посвятила себя воспитанию дочери. Жила она скромно, экономно, но, так как добра было все-таки очень много, Верочке ни в чем не отказывала и научила ее и музыке, и фигурному катанию – короче, дала настоящее воспитание.

И так приятно, сытно, тепло стало Леониду Борисовичу в этой уютной четырехкомнатной квартире в самом центре города, так понравилась ему комната, фонарем выходящая во двор, полный тополей и лип, и замечательно подходящая для его кабинета, что он вдруг махнул рукой и сделал предложение.

Не было желания Леонида Борисовича, которого Вера и Лариса Владимировна не исполнили бы с восторгом, не было ни одной его мысли, которая не была ими подхвачена и одобрена, и, хотя Вера иногда позволяла себе то, что Леонид Борисович презрительно называл «бунтом на броненосце», дальше ее обиженных вспышек дело не заходило, и стоило мужу заиграть желваками, стукнуть рукой по столу или хлопнуть дверью, как она тут же опоминалась и превращалась в тихую овечку с дрожащим от слез подбородком.

Ребенка, однако, не получилось. Вера не беременела, и Леонид Борисович раздражался. Более того: она не приносила ему даже простой физической радости, несмотря на то что в ней самой каждое прикосновение снисходительного мужа отзывалось так, будто к коже подносили горящий факел. Чем больше она стонала, зажимая рот руками, чтобы мать не услышала, чем больше шептала ему: «Дорогой, ненаглядный», тем небрежнее и холоднее он становился.

В конце концов этот неполучившийся ребенок стал основным камнем преткновения.

Если Вера просила Леонида Борисовича не засиживаться допоздна перед телевизором, а лечь спать, он кривил губы и спрашивал ее с тем гадким смешком, от которого кровь останавливалась в жилах: «Последняя попытка? Ну, это без меня!» Если она просила его снять дачу, чтобы не проводить лето в душном, жарко пахнущем асфальтом городе, Леонид Борисович тут же объяснял ей, что дачи снимаются для детей, а не для взрослых. Он использовал ее беду в своих непонятных целях, и в конце концов Вера поняла, не умом, но всем своим нелюбимым тоскующим существом, что Леониду Борисовичу давно осточертели ее жалкие

дрожащие поцелуи, и запах ее духов, и скользкое прикосновение ее смазанных кремом щек, от которых он брезгливо вытирался кончиком простыни.

– Усыновляйте, – сказала мать и сжала тонкие губы.

Поначалу Вера ахнула и отвергла эту идею.

– Тогда иди проверяйся, – не отступала мать, – хотя я лично не советую. Если окажется, что дело в тебе, он тебя за человека считать перестанет, а если, не дай бог, окажется, что ты ни при чем, так еще хуже. Разве им можно говорить такие вещи!

Она не пошла проверяться. Насмешки со стороны Леонида Борисовича не прекращались. Тогда Вера решила высказать вслух материнское предложение и с удивлением встретила его оживившиеся глаза.

– А что? – сказал он. – Может, и вправду? Все-таки веселее будет. Мальчишку. Я его рыбалить с собой возьму, в планетарий сходим.

– Это не игрушка, Леня, – строго сказала Вера, покрываясь гусиной кожей от волнения, – это большая ответственность.

– Ну так что? – еще беспечнее отозвался он. – Хватит вам с мамашей баклуши бить, пора делом заняться. Ты пошуруй, поищи, а потом мне доложишь.

Вера начала искать. Ее пугала наследственность. Дети алкоголиков, наркоманов, бомжей отвергались сразу: с ними можно было ужасно нарваться в будущем. На многих детей не было никакой документации, кто они и что, оставалось только гадать. Про Колю же она узнала, что матерью его была семнадцатилетняя беженка из Средней Азии, отец неизвестен, и эта девочка-беженка отказалась от ребенка еще до родов. Младенец, которому дали нейтральную фамилию Иванов, был переведен в Дом малютки, где долго болел, будучи глубоко недоношенным, но потом, к удивлению медперсонала, выкарабкался и к девяти годам стал вполне крепким на вид пацаном с узкими глазами.

После первой встречи с Колькой Вера была в нерешительности: ребенок не вызвал у нее никакого душевного отклика. Но Леонид Борисович сказал «пойдет» и весь остаток дня казался ласковее, чем обычно.

«В конце концов, – сказала она себе, – мы педагоги, мы справимся с любым типом темперамента, мы привыкнем, привяжемся, Лене это необходимо. А у меня, да, у меня будет сын…»

Сын оказался невеселым, пугливым, угловатым. Он много и жадно ел, плохо спал по ночам и – несмотря на свои девять лет – читал по слогам. Вера чувствовала, что он словно бы присматривается к ним и постоянно чего-то боится. За эти две недели он ни разу не подошел, не приласкался, не нашалил, не рассмешил. Разговаривать с ним было не о чем, потому что он не задавал никаких вопросов и, кажется, ничем не интересовался. Во дворе, куда бабушка Лариса выводила его гулять, Колька не прижился. Он не стремился познакомиться с другими детьми, а они явно невзлюбили его, тут же почувствовав чужого. Вера со страхом ждала наступления школы, понимая, что нынешние летние недели – только цветочки, а ягодки начнутся потом, с первого сентября. Психоневролог, к которому она отвела Кольку по причине его ночных криков, не сказал ничего утешительного. «В клиническом смысле слова, – промямлил он, – мальчик скорее всего здоров, но эмоциональных проблем будет много, ребенок травмирован, не получал внимания, не знает, что такое ласка, остро чувствует опасность даже там, где ее нет, в общем, к чему мне вас утешать, сами видите…»

Вера видела, и бабка видела. Видел ли Леонид Борисович, было непонятно, потому что он стал редко бывать дома, приходил только ночевать, вечно куда-то торопился, почти не разговаривал с женой, а тещу обрывал на полуслове, хотя она и так ни в чем ему не перечила.

– Я не понимаю, – плакала Вера, по-восточному заламывая руки, – я не понимаю: ты же сам хотел этого! Что же ты теперь наваливаешь все на нас с мамой! Ему же нужно твое, отцовское внимание! Я не понимаю!

– Я думал, хоть он отвлечет тебя от вечных претензий, – огрызался муж, – вы с мамашей скоро совсем обнаглеете: я тебе не нянька и не домработница!

По ночам Вера рыдала от несправедливости и целый день ходила потом опухшая, красная, подскакивала к каждому телефонному звонку, ожидая, что он позвонит и извинится, а к вечеру красила глаза, наряжалась, пудрила нос, прыскалась духами. В один день все изменилось: Леонид Борисович научил Кольку играть в шашки, сходил с ним в зоопарк и два раза – в «Макдоналдс»; Колька опьянел от счастья. Вера насторожилась и перестала плакать. В субботу все вместе ездили на Ленинские горы, любовались панорамой города, и отец рассказывал Кольке, сколько разных факультетов в Московском университете и какими удивительными вещами там занимаются.

– Так что, – подытожил Леонид Борисович, – учись давай, не разбалтывайся, брат. Видишь, какие перед тобой задачи?

От неожиданного отцовского внимания Колька долго не мог заснуть и слышал все, о чем говорили в большой комнате.

– Вместе, конечно, было бы лучше всего, – задумчиво размышлял отец, – с тобой да с парнем, что может быть приятнее? Но, Веруня, у тебя же подготовительные курсы начинаются! Как ты можешь уехать?

– Я не хочу, – упрямо повторяла мать, – я не хочу так. Ты на курорт, а я тут буду вкалывать? Прекрасное решение!

– Но послушай, – густо, как шмель, гудел отец, – ты же сама хотела, чтобы я сблизился с ребенком. В Сочи – это проще всего. Море, солнце, все время вместе: и плавать его научу, и фруктами откормлю, и в горы сходим, и в кино. Он приедет домой – ты его не узнаешь!

– Леня, почему мне все время кажется, что ты меня обманываешь? – испуганно спросила мать. – Почему мне все время кажется, что ты играешь со мной?

– Паранойя, Вера, паранойя, тяжелое наследственное заболевание, – отец звонко поцеловал ее и засмеялся, – так что решили: еду с Колей в Сочи.

Расплющив нос о стекло иллюминатора, он не отрываясь смотрел вниз. Земля стремительно удалялась, и все на ней становилось маленьким.

Вот река, тонкая и синяя, как ленточка, вот поле с черным игрушечным трактором, вот дом – меньше, чем на картинке в учебнике, но главное – ни одного человека! Далекая нестрашная земля без людей, с синими реками. Колька почувствовал к ней жалость, словно перед ним открылось чье-то притворство. Всю жизнь он был уверен, что она огромная, и – вот, пожалуйста!

Вечером после ужина пошли к морю. Колька осторожно наступил на воду, и море сразу же сказало ему какую-то короткую громкую фразу, в которой было много шума. Потом замолчало, словно припоминая, и тут же повторило, только теперь внутри шума пронзительно прокричала чайка. На небе блестело размазанное желтое солнце. Море подымало к нему волны, как рукава без рук.

– Пап! – подпрыгнув, закричал Колька. – Вот это да! Пап!

– А ты думал! – весело сказал отец. – Это тебе не бассейн «Москва».

…Никогда его не заставляли мыть пол в девчоночьей уборной осколком разбитой бутылки. Никогда Скворушка не приходил к нему на рассвете, не запускал руку под одеяло, не шарил, тяжело дыша, потной ладонью по его животу. Не было ночи, когда из Тамарки вывалилась печенка и осталась лежать рядом с кроватью. Ничего этого не было. Его звали Коля Бабаев, а не Иванов, у него были отец, мать Вера и бабушка Лариса Владимировна,

все они жили в большой прекрасной квартире с зеркалами, и сейчас он приехал к морю, в которое медленно опускается солнце.

Вот такая была у него жизнь.

– Коля, – сказал отец, когда они вечером лежали в кроватях и Колька почти уже спал, – я хочу тебе кое-что сказать.

Голос отца был странным: словно он не говорил, а крякал: Ко-лЯ, Я, хА-чу, скА-зАть.

– Завтра сюда приедет одна моя знакомая, – прокрякал отец, почти проглотив слово «мая», – будем отдыхать вместе. Веселее ведь, верно?

– Верно, – испугался Колька.

– Но я прошу тебя: не говори маме, что мы отдыхали не одни. Она у нас осталась работать там, в городе, в духоте, ей будет обидно. Понял меня?

– А мама не приедет? – спросил Колька.

– Не думаю, – отец, наверное, сморщился в темноте, потому что слова сжались в трубочку, – не думаю. Понял меня? Ни слова о том, что к нам кто-то приезжал.

– Ладно, – сказал Колька, проваливаясь в блаженный сон, – не скажу я.

Во сне он увидел, как Скворушка чистит грязным ножом картошку. Картошка вскрикивала от боли. Из-под кожуры текла кровь.

– Слизывай! – орал Скворушка и подносил окровавленный комочек к его лицу. – Я кому говорю!

День прошел очень хорошо и весело. Много купались, обгорели, отец играл в волейбол с мускулистыми парнями, потом обедали, ели сливы с мороженым. В восемь часов вернулись в свою комнату, и отец переоделся в новые белые шорты и черную майку с изображением дракона.

«Во дела!» – про себя восхитился Колька, увидев дракона на его груди.

– Ложись спать, – не глядя на него, приказал отец, – ты сегодня набегался. А я пойду пройдусь, посмотрю, что и как.

Он плотно затворил за собой дверь и ушел. Колька с ногами взобрался на подоконник, чтобы увидеть, как отец выходит на улицу, но его не было. Колька подождал. Потом высунулся из комнаты. Коридор был пуст, все отдыхающие либо пошли на море, либо еще где-то развлекались.

«Куда ж он подевался?» – забеспокоился Колька и побежал на первый этаж.

На первом этаже висело зеркало и рядом с одной из дверей росла небольшая чахлая пальма в кадке. Колька пощупал ее волосатый ствол и вдруг услышал отцовский голос.

– У-у-х! – рычал отец, задыхаясь.

Колька замер на месте.

– Ну, говори: скучала? – прорычал отец. – Говори!

Никто не ответил. Отец тоже замолчал. Потом раздался женский смех, и отец застонал, словно его убивают. Колька в страхе рванул на себя дверь. Перед ним краснела голая отцовская спина, поджарившаяся на солнце, головы не было видно, она пряталась в чьих-то волосах, рассыпанных по подушке, а справа и слева от отцовской спины вздымались огромные белые ноги с огненными ногтями. Колька зажмурился и тут же услышал:

– А-а-а!

Из-под отца вылезла чужая женщина с горящими щеками и очень большим ртом, которым она пронзительно кричала:

– А-а-а!

Отец приподнялся на локте и обернулся. Колька его не узнал.

Отец был мокрым от пота, пот лил с него ручьями, и волосы на лбу стали кудрявыми и черными. Глаза без очков казались такими яркими, словно в них брызнули морской водой. Огромный, голый, молодой, кудрявый, он делал в кровати то, о чем Колька давно все знал, потому что любой детдомовец, начиная с тринадцати лет, делает то же самое и потом рассказывает мелюзге, вроде Кольки, что это такое.

Увидев его, отец стал темным, как кровь. Вскочив с кровати, он набросил на себя смятую простыню и, не говоря ни слова, вышвырнул Кольку за дверь, как котенка. С этого вечера все изменилось. Женщину, с которой отец делал то, о чем Колька давно все знал, звали Аллой Аркадьевной. Она была намного красивее матери Веры. Колька догадался, что Алла Аркадьевна была отцовской марухой и он поехал на море, чтобы жить с ней и удрать от матери. Колька же ему вовсе не был нужен, и, хотя отец ни одним словом не заикнулся о том, что случилось в комнате с пальмой, он начал явно тяготиться Колькиным присутствием и постоянно отсылал его от себя.

– Поиграй, Коля, – обходя его глазами, говорил отец, – с ребятами познакомься. Что ты все с нами да с нами?

Играть он не умел, потому что в детдоме не часто играли.

«Ребят» же в пансионате было немного, и никто из них не выражал желания знакомиться с Колькой. Оставалось море. Он входил в воду и, стоя в ней по горло, ждал волны, подпрыгивал, когда она приближалась к нему, и вместе с нею несся к берегу. Если бы в эту минуту его видели Козел с Самолетом!

Отец лежал на полосатой подстилке рядом с белой, как молоко, Аллой Аркадьевной. Все вокруг были черными и желтыми, только Алла Аркадьевна заворачивалась в полотенце, чтобы солнце не портило ее белизны. У нее были полные длинные ноги, и купальник – белый, с золотом на груди. Сквозь золото просвечивали черные виноградины сосков, а когда она выходила из моря, под животом тоже просвечивало что-то темное, на что, не отрываясь, смотрел его отец и к чему немедленно устремлялась его рука, как только Алла Аркадьевна, набросив на себя купальную простыню, ложилась на полосатую подстилку, спиной к солнцу.

Отцовская рука была жадной и очень горячей. Колька чувствовал ее жар, хотя между ним и полосатой подстилкой было не меньше метра. Закрыв глаза и нахлобучив на лоб кепку с оранжевым пластмассовым козырьком, отец лежал на спине. Левая рука его, свободно откинутая в сторону, вяло перебирала раскаленные скользкие камни, а правая была просунута под живот Аллы Аркадьевны и что-то там делала, двигалась, хотя никто на свете, кроме них троих – Кольки, Аллы Аркадьевны и самого отца, – не подозревал об этом. Алла Аркадьевна то вдруг начинала тяжело дышать, словно ее кто-то душит, то смеялась отвратительным легким смехом, словно ее щекотали, то приподнимала рыжую спутанную голову и шептала отцу: «Перестань, ненормальный!»

И опять падала лицом на подстилку. А отец молчал, хмурился, улыбался, постанывал и левой свободной рукой поправлял лежащую на нем развернутую газету. Колька сам не понимал, почему ему все время хочется вскочить, заорать, изо всей силы ударить по отцовскому животу, сорвать с него эту газету, которую тот все равно не читает, бросить в него большим гладким булыжником, серым от морской соли… Ему хотелось самому просунуть ладонь под ленивую Аллу Аркадьевну, потрогать черные виноградины ее сосков, шею, ложбинку между правой и левой горками на груди, поцеловать ее спутанные рыжие волосы, ее лицо – такое равнодушное, ослепительно-белое, с темными, как малина, оттопыренными губами.

Среди ночи он открывал глаза. Отцовская кровать была пустой, хотя ложились они в одно и то же время и оба сразу засыпали, измученные солнцем и морем. Значит, поспав немножко, отец тихонько, боясь разбудить Кольку, крался к двери, держа в руках свои пляж-

ные шлепанцы, и потом бежал, несся – да, несся, потому что хотел скорее к ней! – скатывался на первый этаж, к двери с пальмой, за которой его ждала блещущая в темноте всеми своими буграми и горками, равнодушная к Кольке, ленивая женщина. И что потом? Потом они ложились в кровать.

И начинали делать то, о чем Колька все знал.

А ведь как хорошо началось! Какое было море, и свет внутри воды, и свет посреди неба, и парусник на горизонте! Приехала рыжая и все поломала. Ее бы избить до полусмерти. Чтобы она вся стала черная.

А то лежит посреди пляжа, выставилась, как сахар, сука.

Он входит в воду. Отец так и не научил его плавать, пообещал только. Море полно медуз, они обжигают людей, хотя, кажется, что такого? Плавают какие-то скользкие тряпки. Все на свете так. Пока не дотронешься – не узнаешь. А дотронешься – и пеняй на себя: зачем дотронулся? Он опускает в воду лицо, смотрит. Здесь-то, у берега, ничего: раковины и водоросли, а если отплыть? Далеко-далеко? Там, наверное, дно похоже на кладбище, в котором лежат люди. Ведь сколько капитанов и разных моряков утонуло в море. Куда же они делись? Умерли все и спустились на дно. Очень просто.

В квартире было по-летнему душно. Мать встретила их в новом платье, с распущенными волосами. Губы накрасила, ресницы, как у куклы.

Наклонилась и два раза клюнула Кольку в щеку. Потом подошла к отцу и подставила ему лицо. Отец усмехнулся.

– Ты ничего не хочешь мне сказать? – хрипло сказала мать.

– Что именно? – раздраженно спросил отец.

Мать не ответила. Сели обедать. Бабушка Лариса принесла сковороду с котлетами. Отец вдруг развеселился, начал шутить, щелкнул Кольку по носу, похвастался, как они замечательно отдыхали вдвоем в городе Сочи, каким чудесным было море по вечерам, как их вкусно кормили.

В столовой зазвонил телефон. Бабка хотела было ответить, но отец оттолкнул ее и схватил трубку.

– Алло! – закричал он и вдруг закрыл за собой дверь.

Что-то он еще говорил там, но было не разобрать. У матери глаза выкатились наружу, как пинг-понговые шарики, бабка притихла. Отец вернулся и принялся за еду.

– Кто это звонил, Леня? – тихо спросила мать.

– Это? – отмахнулся отец. – Это мне звонили по делу.

– По какому? – Мать прикрыла глаза.

– Тебе какая печаль? – грубо сказал отец. – Давно не шпионила?

Мать испуганно посмотрела на Кольку, разрыдалась во весь голос, задохнулась, закрылась ладонями, сбросила на пол стакан с лимонадом и побежала в коридор, словно за ней кто-то гнался. Кольке стало страшно. Он побоялся, что отец догонит ее и изобьет. Но отец сидел неподвижно, опустив глаза и сжав в кулаки свои большие волосатые руки. Бабка шуршала салфетками. Наконец отец встал.

– Поговори, поговори, – прошуршала бабка и всхлипнула, – по-людски надо, по-человечески…

– Осточертели вы мне, – тихо сказал отец, – вот вы у меня где сидите, – и провел ладонью по шее, словно отрезая себе голову.

– Поди погуляй, Коля, – приказала бабка, перестав всхлипывать, – потом доешь, поди погуляй…

Вечером, когда он уже разделся и собирался лечь спать, в комнату неслышно, будто кошка, проскользнула мать Вера. Накрашенные ресницы ее слиплись от слез и колышками торчали в разные стороны. У Кольки сразу же заболел живот.

– Коля, – ласково сказала мать, – тебе нравится жить здесь, дома?

– Нравится, – удивился Колька и положил обе руки на пупок, чтобы было не так больно, – а чего?

– Ах, нравится, – пропела мать, – ну а где тебе больше нравится: здесь или в Сочи?

– Здесь, – сказал Колька и тут же испугался, потому что у матери опять полезли наружу глаза, – и в Сочи.

– Но ведь тебе же, наверное, было скучно в Сочи? – прошептала мать. – Ведь папа же был все время занят в Сочи?

Дверь распахнулась, и отец – в белых трусах, босой и всклоченный – вырос на пороге.

– Хватит! – заорал он и изо всей силы толкнул Кольку на кровать. – Оставь ребенка, идиотка!

Мать раскрыла рот и стала ловить им воздух, как рыба.

– Педагог сраный! – кричал отец. – Кащенко по тебе плачет! Вся в дедушку в своего, княгиня!

Мать убежала, хлопнув дверью. Отец устало опустился на стул рядом с Колькой.

– Вот что, – сказал он и изо всех сил потер лоб ладонью, – вот что: о Сочи ни слова. Понял меня?

Колька кивнул. Из глубины отцовских глаз выплыла белая Алла Аркадьевна.

Сквозь прозрачную ткань купальника просвечивали черные соски. Она посмотрела на Кольку и лениво закачала рыжей головой.

– Понял меня? – строго повторил отец.

– Понял, – сказал Колька, глядя под ноги, – чего не понять…

Ночью он проснулся от грохота. Что-то покатилось, упало, разбилось.

Над кроватью появилась бабушка Лариса в ярко-белом больничном халате и заплакала:

– Нет у тебя сердца, нет, нет! По-людски надо, по-человечески!

В соседней комнате горел свет. Отец, спиной повернутый к Кольке, показался неправдоподобно большим. Под его руками бились чьи-то худые, с черными волосинками ноги. Волосинки стояли дыбом, блестели под лампой. Голос, не похожий на материнский, слишком тонкий, словно девчоночий, кричал:

– Уходи! Больно! Больно! Так не хочу! Так не хочу!

– Замолчи! – грохотал отец. – Замолчи, я кому сказал! Я тебя свяжу сейчас, если не перестанешь!

Бабка подбежала к волосатым ногам и стала зачем-то кутать их в одеяло.

– Идиотка! – орал отец. – Лекарство нужно! Тазепам! В сумке у нее тазепам!

Он отскочил в сторону, чтобы дать бестолковой бабке сумку, и Колька зажмурился от страха. На отце ничего не было, кроме черной от загара кожи, а мать, оказывается, каталась по кровати, быстро-быстро болтая ногами в воздухе.

– Дверь! – приказал бабке отец, на секунду встретившись глазами с Колькой. – Дверь закройте!

Бабка захлопнула дверь, и Колька остался в темноте.

* * *

Он был предприимчивым, деловым человеком. В тридцать шесть лет – кандидатская, в сорок четыре – докторская. Специалист по детским психологическим травмам, педагог. Его последняя книга «Ошибки и достижения Зигмунда Фрейда в вопросах сексуального разви-

тия подростков» была переведена на японский язык. Он трижды ездил на международные симпозиумы и научился есть японское блюдо суши деревянными палочками.

У него была прекрасная квартира, доставшаяся от сумасшедшего грузина, любящая жена, красивая мебель и большая библиотека. Он собирался вот-вот купить новую машину и засесть за новую книгу, которую тоже переведут на японский. Ему уже заплатили аванс. Вера была плоской и неловкой.

Но, в конце концов, не велик труд покопать ее пару раз в месяц. Молча, быстро, ничего не испытывая. Жили и жили. Удобно жили, он многое успевал.

Алла появилась осенью. Его раздавило. Он не был бабником, и женщины, знавшие его до Аллы, тосковали по ласке, потому что он не ласкал их. Они бывали нужны ему только в постели и только на короткое время. Вера же, став его женой, перешла из разряда женщин в разряд бытовых предметов. С ней можно было не церемониться.

Но, оказывается, и для него был припасен капкан. Он сделал шаг, и капкан захлопнулся. Его защемило. Сначала – крайнюю плоть, потом все остальное. Никогда он не испытывал ревности, теперь она его измучила.

Алла была замужем, и этого мужа он видел однажды в метро.

Муж оказался неприятно высоким, выше его, довольно красивым. Было воскресное утро. Алла держала мужа под руку той же самой рукой, которая в пятницу царапала голую спину Леонида Борисовича длинными ногтями. Представить, что мужу позволяется то же самое, что и ему, было больнее, чем проглотить бритву. Она сказала ему, что уйдет, если будет куда. Уйти было некуда. У Леонида Борисовича лежали деньги на новую машину, полученные за переведенную и изданную в Японии книгу.

Но этих денег не хватило бы на покупку квартиры. Значит, жилье нужно будет снимать и отказаться от планов на машину. Она сказала ему, что, как только он разведется, она родит ребенка. Леонид Борисович был уверен, что то, что у них с Верой нет детей, не его вина. Однако в глубине души его подтачивал страх: а вдруг? Вдруг? Все это было запутанно и тяжело. Все, кроме наслаждения, которое Алла ему приносила. Он согласился взять из детдома чужого мальчишку, потому что надеялся с его помощью укрепиться в своей прежней, удобной семейной жизни. Расчет его был неверен. Страх потерять Аллу стал сильнее. Сочи – это была ее идея. Она сказала, что приедет, если он все возьмет на себя. Он взял.

В Сочи она сообщила ему, что разводится, муж перебрался к матери.

Проверить, говорит ли она правду или играет с ним, как кошка с мышкой, было непросто.

– Если ты ни на что не годишься, – сказала она, – я должна буду пересмотреть ситуацию.

– Что значит: пересмотреть? – помертвел он.

Она посмотрела на него прозрачными глазами.

– А как ты хочешь, чтобы я жила? – медленно спросила она. – Мне придется вернуться к нему, вернее, вернуть его, потому что у нас с тобой будет ребенок.

* * *

Бабка Лариса Владимировна с утра начала собирать вещи и хлопотать.

Сегодня они переезжали на дачу. Мать с отцом еле разговаривали друг с другом – это Колька заметил. Но он заметил и то, что мать стала спокойнее, а отец, наоборот, каждую секунду выходил из квартиры покурить и был очень угрюмым. Бабка два раза спросила мать: «Лекарство не забыла?» И мать отмахнулась с досадой. Вчера за ужином отец почти ничего не ел, хотя ужин был вкусным: вареники с вишнями и мясной пирог. Колька все не мог наесться после детдома и всякий раз удивлялся, что мать так мало кладет себе еды на тарелку.

На дачу переезжали в собственной машине «Жигули». Колька не знал, что они такие богатые, и ахнул: своя машина! Оказывается, все это время «Жигули» были в ремонте.

– Старая лохань, – сказал ему отец и поморщился.

– Может, я ее, это, помою, пап? – предложил Колька. – И колеса, и все…

– Потом, – пробормотал отец, – на даче помоешь.

Что такое дача, Колька пока не знал. Оказалось – небольшой домик с открытой верандой и отцветшим кустом сирени перед крыльцом.

– Предупреждаю, – сказал отец, – я здесь торчать не намерен. Мне нужна цивилизация. Если вас это устраивает – в кусты по-маленькому, – вы и наслаждайтесь.

Мать хотела что-то возразить ему, но промолчала. Отец закурил, сказал, что хочет спать, и растянулся в шезлонге под умершей сиренью.

Мать и бабка начали раскладывать вещи. Небо вдруг стало темно-лиловым и вспученным, словно его надули изнутри.

– Гроза будет, – озабоченно сказала бабка.

– Можно, бабуль, я, это, в машине посижу? – спросил Колька.

– Нечего там делать, – огрызнулась мать, – машина для того, чтобы ездить. Можешь погулять пока по нашей улице, но далеко от дома не отходи.

Колька вышел за калитку и, остро чувствуя свою ненужность, побрел по дороге. Слабенькая речушка с хрупким деревянным мостиком отделяла дачный поселок от деревни, в которой шумно носились куры, скрипели колодцы, надрывались собаки. Кольке до слез было жалко этих собак – голодных и старых. «Кур небось зарежут, – подумал он, – зимой съедят, суп наварят, а собаки так и будут лаять, пока не сдохнут».

Он смотрел на черное распухшее небо, зная, что оттуда вот-вот хлынет дождь, и ему стало казаться, что он совсем один в целом свете.

Людей-то не было. То ли они попрятались от надвигающейся грозы, то ли поумирали все, как Тамарка-бакинка. Отец, мать и бабка Лариса превратились в черные точки, слегка вздрагивающие в самой глубине его уставшей памяти, где тяжелыми глиняными пластами лежали те, которых он никогда не забывал: мертвая Тамарка, сухорукий Скворушка, Аркаша-Какаша, беспомощный директор, Козел, Любка-воровка, ребята и девчонки из старшей группы, Витька-Хрипун, Самолет… Он чувствовал, что его место там, среди них, а вовсе не здесь, с чужой семьей, в которой мать с отцом скоро съедят друг друга. «А плевать, – подумал он и проглотил соленый комок, – чего мне? Больше всех надо, что ли?»

Справа от него остановился велосипед, подняв целое облако пыли. Парень лет тринадцати-четырнадцати смотрел на него какими-то уж слишком голубыми глазами. Сбоку у него не было одного зуба.

– Ты че? – спросил парень. – Идешь – не смотришь?

– Я ниче, – сказал Колька, – тут, это, не было никого.

– А я тебе – пустое место? – усмехнулся парень и протянул крепкую коричневую руку, знакомясь. – Петр.

– Николай, – обрадовался Колька, и внутри у него все заколотилось.

– Хочешь, ко мне зайдем? – подумав, предложил парень.

– Хочу, – ахнул Колька.

– Ну так садись давай, – и парень хлопнул ладонью по багажнику.

Колька сел, и они покатили. Загрохотал гром, и тут же налитое пугающей чернотой небо с треском лопнуло, засверкало и обрушилось на землю накопившейся в нем обжигающе холодной водой. Незнакомый Петр изо всех сил закрутил педалями. Колька прижался лицом к его обтянутой мокрой футболкой спине и, чувствуя распирающее грудь счастье, успел подумать, что худа без добра не бывает: разрешили бы ему посидеть в «Жигулях», не вышел бы он за калитку, не подружился бы с человеком.

Через несколько минут Петр бросил велосипед и за руку втащил его в свой дом по развалившемуся крылечку. Колька не успел опомниться.

Он оказался в комнате – очень теплой, потому что в ней, несмотря на лето, топилась печка. В углу стояла кровать под деревенским лоскутным одеялом со множеством маленьких белых подушек. На стене тускло блестели фотографии: военные с выпученными глазами, бородатый старик в орденах, две стриженые девушки в красивых белых платьях, жених с невестой.

В соседней с комнатой маленькой кухне напевал тонкий женский голос: «Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души…»

– Мам! – басом сказал Петр. – Я до станции не доехал, дождик…

– Да бог с ней, со станцией! – отозвался голос, и в комнату вошла женщина с такими же, как у Петра, очень голубыми глазами. И так ясно, так ласково посмотрела она ими на мокрого до ниточки Кольку, что по всему его телу разлилось тепло и стало уютно, как если бы его взяли на руки и принялись укачивать. – Да разве это дождик, – грустно сказала она, – не дождь, а светопреставление! Ты погляди, что за окном творится! Я и печку растопила, чтоб сырости не было. Кушать хотите?

– Хотим, – с достоинством ответил Петр и подтолкнул Кольку к столу.

Она мигом достала из гудящего, как улей, холодильника кусок колбасы, яйца, зеленый лук, сделала яичницу, высыпала в розовую пластмассовую вазочку остаток конфет из бумажного кулька, разложила еду по тарелкам.

– Только вы, ребятки, переоденьтесь, – ласково сказала она, – а то простудитесь, заболеете.

И принесла Кольке сухую майку.

Все это было как во сне. Он и впрямь боялся заснуть, потому что ноги и руки его сделались ватными, тело обмякло, а внутри груди – слева – запрыгал солнечный зайчик. От этого ему стало щекотно и захотелось смеяться.

– Ешь давай, – сказал Петр.

Колька принялся за еду, но чудесное ощущение сонливости, тепла и веселья только усилилось.

– Ты чей такой? – спросила она, улыбаясь. – Дачник?

Колька, не выдержав, рассмеялся. И она рассмеялась.

– В каком ты классе учишься? – погладив его по голове, сказала она и вытерла ладонью выступившие от смеха слезы.

– В четвертый перешел, – ответил Колька, подставляя ей затылок. Рука была теплой, мягкой, чуть вздрагивала.

– С родителями ты здесь? – не переставая гладить его голову, продолжала она.

Колька кивнул и вдруг поправился:

– Они говорят: «родители», – прошептал он, – а я откуда знаю? Из детдома я.

Она всплеснула руками и, забывшись, отвела от лица густую прядь коричневых, с сединой, волос. Колька увидел, что правая щека ее покрыта ярко-белой, неживой кожей, похожей на ножку ядовитой поганки.

– И давно ты у них? – спросила она.

– Не, – сказал Колька, – я, это, не помню точно, с мая, вот.

– Ругают они тебя? – тихо сказала она.

– Не, – смутился Колька, – они, это, они сами ругаются.

У него защипало глаза, и он испугался, что сейчас заплачет.

Тогда она придвинулась на табуретке, обеими руками обхватила его и прижала к себе. Она втиснула его внутрь своего большого, теплого тела, и Колька сразу успокоился. Голова

его лежала на ее груди, и он близко-близко видел маленькую стеклянную пуговицу и кусок кожи, нежно пахнущей печным дымом и ягодами.

– Ничего, деточка, – зашептала она, – ничего, маленький. Потерпи, не плачь. Они тебя взяли, значит, ты им нужен, привыкнете друг к дружке, полюбите. Не плачь, маленький. А станет тебе скучно, приходи к нам. Ты у нас и переночевать можешь, и уроки поделать, поиграете… Ничего, маленький…

Дождь кончился. Петр посадил его на багажник и повез домой.

На небе блестела радуга, и трава переливалась синевой и золотом, почти как Черное море на закате.

– Слышал, че мать сказала? – спросил его Петр у калитки. – Ты к нам приходи. Мать у меня очень добрая.

– А че у нее на щеке? Белое? – спросил Колька.

Петр опустил глаза:

– А это в нее отец кислотой плеснул. Он в тюрьме сидел, а когда вышел, плеснул в нее кислотой из бутылки. Ну, его опять посадили. Мать у меня несчастная. Но ты приходи. Отец нас достает.

– Как достает? – испуганно спросил Колька.

– Ну, как? – глядя под ноги, ответил Петр. – Письма пишет: «Вернусь, убью. Так что жди, не надейся». Очень он на нее зол, на мать.

– За что? – спросил Колька.

– Не знаю, – уклонился Петр, – а только я ее в обиду не дам. Приедет, я его сам убью. Вот что.

* * *

Леонид Борисович набрал номер и услышал, как Алла тяжело вздохнула, прежде чем сказать «слушаю». Этот вздох неожиданно растрогал его. В конце концов, она тоже переживает.

И чем она-то виновата?

– Алена, – сказал он в трубку, – я в Москве, я вернулся с дачи.

– Да? – тихо спросила она. – Неужели? Ну, приезжай.

– Ты что, одна?

– Я одна, – сказала она, – конечно, одна.

«К черту, к черту, к черту, – крутя баранку, остервенело думал Леонид Борисович, – уйду, и все! Проживут! Вера сама зарабатывает! На мальчишку буду давать! Мальчишка меня в упор не видит. Ему – что я, что это дерево, все одинаково, подзаборник! Они только в теории привязываются, а на практике… Как волка ни корми…»

Нечего было себя уговаривать: решение вызревало в нем долго и наконец вызрело, упало с души, как камень. Он любил одну женщину и не любил другую.

Любимая им женщина лежала на диване, входная дверь была не заперта. Он со страхом заметил, что живот ее округлился под белым халатом.

– Ну, – сказала она, не глядя на него, – как семейная идиллия?

Леонид Борисович с досадой поморщился.

– Тебе больше нечего мне сказать?

– А тебе? – И перевела на него прозрачные, дымные глаза.

Голова медленно пошла кругом. Ничего не хочу, только эту бабу. Он стиснул зубы, лег рядом с ней на диван. Все, начинается.

Она засмеялась и отодвинулась.

– Ни, ни, ни! – сказала она и быстро провела ладонью по его лицу. – Доигрался, дорогой.

– Какая разница? – задыхаясь, прошептал он. – Все равно ведь доигрался!

– Какая разница? – пропела она и села на диване, поджав под себя ноги, лицом к нему. – Какая разница? А если сейчас, – понизила голос, – дверь откроется, войдет мой муж и спустит милого друга с лестницы?

Она медленно расстегнула халат, сбросила его движением плеча.

– А-ах! – содрогнулся он. – А-а-а-ах!

Она взяла его руку и провела ею по своей белой шее, потом по левой груди, задержавшись на ярко-красном соске.

– Вот этим, – словно подражая маленькой девочке, сказала она, надувая губы, – мы будем кормить нашего сиротку. Вот отсюда пойдет молочко…

Вдруг она с силой отбросила его руку и отвернулась.

– Что? – испуганно спросил он. – Точно, да?

Она полоснула его сузившимися глазами:

– Представь себе! Точней не бывает!

Навалилась на его подбородок белой грудью и обеими ладонями взяла его за горло.

– А может, мне тебя убить? Надоел ты мне!

Он попытался поцеловать ее, она звонко ударила его по лицу.

– Надоел!

Он вдруг понял, что она не шутит.

– Хорошо, – прохрипел он и завел ей руки за спину, – хватит драться! Я же с тобой не спорю.

– Что значит: не спорю? – спросила она.

– То и значит, – ответил он спокойно, – как ты хочешь, так и будет. Я уйду оттуда.

Вдруг она притихла, легла рядом и прижалась к нему. Леонид Борисович боялся пошевелиться.

– Учти, – глухо сказала она, – это не я попросила, это ты решил.

Он начал расстегивать рубашку, делая вид, что не торопится.

– Да быстрее же! – прошептала она и укусила его щеку горячими губами. – Быстрее!

* * *

…А, Пушкино уже. До чего ему знаком этот перрон, словно бы и не прошло восьми лет. Киоск с газетами. Так. Жизнь поменялась, пишут про другое, ему наплевать, у него свои дела. Пирожки местной выпечки. Раньше мясные продавали по двадцать, капустные – по десять. Теперь деньги другие, пирожки те же. Взял два мясных с непрожаренным луком. Вкусно, горячие.

Какая она теперь? Без груди, изуродованная? Опять у него внутри все запылало. Сосед говорит, вся седая стала. А была? Веселая, легкая, не ходила – летала. Когда ж она поседела? А, вот, наверное, когда он на нее бутылку вылил. Плеснул – она на пол осела и покатилась, зашлась криком. Красавица моя. Обещал вернуться, видишь, слов на ветер не бросаю. Уродовать тебя не стану, куда ж тебя еще больше уродовать, а жить не дам. Потому что жить тебе незачем. Не любил бы – не стал мараться. Мало их, баб, кошек шелудивых, под чужих мужиков бросаются! Что ж теперь, каждую убивать? Тошно мне.

Рвать меня тянет, язва, должно быть, разыгралась. Гастрит двенадцатиперстной.

Ну ладно. Приехал я, Саша. Александра Николавна. Встречай гостя. Как мы жили-то с тобой поначалу? Как в раю. Все вместе. На рыбалку ездили, в гости ходили. Зарабатывал я, баловал ее сдуру. То одно куплю, то другое. За бананы ветерану войны переплачивал:

ему без очереди давали, а я тебе тащил. Выпивал, конечно, как без этого? Ну она плакала, заливалась: «Не пей, Вася! Говорю: не пей!» А мужику без водки – разве жизнь? Вся сила кончится. Как я тогда влип? Ничего не помню. Разошелся по пьянке, бутылкой по башке: хрясть! Проломил. Инвалидом племяша оставил. Всю жизнь на совести. В себя пришел уже в наручниках.

Она таскалась в тюрьму, опухшая, зареванная. Только-только родила тогда, молока было много, вся кофта мокрая. Сам чуть не плакал.

«Жди меня, Саша, вернусь – заживем!» И в письмах писал: «Вернусь – ноги твои мыть буду за то горе, что тебе причинил, капли в рот не возьму, жди, надейся!»

Верил ведь, что ждет. А она закрутила – года небось не прошло. Петьку к матери – и пошла! Спасибо, сосед написал, намекнул – черным по белому. Терпеть невмоготу было. Рассказал там одному, поделился. Тот говорит: «Ты, птенец, баб не знаешь. Баба так не может, чтоб ее один покрывал. Ей надо силу свою доказать: вот я, мол, какая. Мигну – и все мои. Не убивать за это надо, а воспитывать. Природу исправлять. Они послушные, бабы, любят, когда их воспитывают».

Ну нет, это не по мне. Я вам не Макаренко – воспитывать.

Убью, и все. А потом лягу на твою могилу и с места не сойду, пока сам не сдохну. Моя, моя и есть. Хоть живая, хоть мертвая.

Срок дали – пять лет. Отбыл – приехал. Нагрянул, как снег на голову. Выследил ее на станции. Сошла с электрички. С хахалем. Мужик как мужик. Мужик-то чем виноват? На ней – платье в горошек, прическа высокая. Супруг законный в тюрьме слезами умывается, а она – причесочку! Так. Шел за ними до самого дому.

Сумерки были. Ух как она шла! Боком к нему, боком, так всем своим горохом к чужим штанам прилепилась, что… Ладно. У меня в кармане нож был. И кислоту раздобыл. Но кислоту на крайний случай. Не кислотой баловаться ехал. Они за дверь. Подождал я для приличия, постучал вежливо.

Она открыла. Я – раз! И всей бутылкой в нее плеснул. Сам не понял, как так вышло. Не хотел ведь кислотой-то. Она и повалилась.

Вся стала черная, как снег весной. Буграми какими-то пошла. Тут этот мужик на меня. Она по полу катается. Дальше – что? Соседи. Мужика оттащили. «Скорая». Унесли ее под простыней. Потом узнал: выжила, грудь левую пришлось отрезать, до кости прожгло. Ну и на лице тоже. Щеку испортил. Извиняюсь. Сосед написал: живет смирно, Петьку растит хорошо, ты, Василий, подумай, всяко бывает. Ладно, подумаю.

Восемь лет думал. Вернусь – убью. Принимай, Саша, гостя. В каждом письме правду писал, предупредил. Ни словечка не ответила. Гордая.

Ты меня попроси, попроси, Саша. Ты у меня в ногах поваляйся. Да нет, не попросит. Красавица моя.

Вот, дошел. Что ж меня так рвать-то тянет? Не дело. На диету надо.

Постучал. Дверь не заперта. Толкнул. Она стоит спиной: то ли тесто месит, то ли еще что. Сгорбилась. Седая вся, не наврали. Обернулась.

Вот и встретились.

– Здравствуй, Александра Николавна, не ждала? – А у самого губы прыгают, все слова – забыл.

Молчит. Смотрит. Глазоньки мои, незабудки.

– Не узнала меня? Муж твой. Василий Николаич. Что смотришь? – Нашарил в кармане нож. Тут. Куда ему деться? – Рассказывай, Саша, как жила без меня, как…

Опять все слова вылетели.

– Вася, – говорит, – уходи от греха, Вася.

От греха! Все нутро в нем поднялось. От греха! О грехе-то ты бы раньше вспомнила, когда хахалю свою… подкладывала!

– Ладно, Саша, кто старое помянет…

Вынул ножик, подошел к ней. Она и не думает прятаться. Стоит, как неживая, только глаза синеют. Попроси меня, попроси, я кому говорю! Са-а-ша! Стоит.

Поднес ей нож к горлу.

– Помогите нам, – сказала она и заплакала.

Под «нам»-то он ее и полоснул.

Хрустнуло под рукой что-то. Нож вошел глубоко, ровно. Она упала ему на грудь, кровь, как из крана. Подхватил ее, обнял крепко.

Оба повалились.

* * *

Бабушка Лариса Владимировна варила клубничное варенье. Кольку заставили читать «Робинзона Крузо». Вслух, с выражением. Мать делала вид, что слушает, а на самом деле не спускала глаз с дороги, по которой отец должен был вернуться из города.

– Ты так, Вера, в сумасшедший дом попадешь, – поджав губы, сказала бабка и сняла пузырящуюся пену огромной ложкой.

Мать не ответила. У матери была мигрень, и голову она обмотала серым пуховым платком. Как только отцовская машина подъехала к дому, мать сорвала с головы платок и посмотрелась в зеркало. Отец вошел тяжело, как старик. Лицо – мрачное, небритый.

– А мы заждались, заждались, – пропела бабка, – я уж говорю: да он сегодня в городе заночует, у него дел-то сколько! А ты приехал!

– Заночевал бы, – злобно ответил отец, – если бы мне жить давали… А то ведь… – И пошел умываться.

У Веры задрожал подбородок.

– Молчи, молчи, – зашипела бабка. – Он – свое, а ты – без внимания. Подите погуляйте, потом спать. Ночная кукушка дневную перекукует…

Сели ужинать. Молчание висело над столом. Зажгли свет. Черные бабочки с выпуклыми глазами жались к огню, осы, шипя, тонули в варенье.

Вдруг заскрипела калитка, и рядом с крыльцом появился Петр.

С того дня, как мать его угощала Кольку яичницей с луком, прошла неделя.

За эту неделю Петрову мать успели зарезать и похоронить. Колька слышал, как бабушка Лариса говорила об этом с соседкой, и видел, сколько женщин в черных косынках и мужчин в кепках – несмотря на жару – шли к Петрову дому со станции мимо их дачи.

Дом, где жили Петр и его зарезанная мать, был через три улицы.

Ни один человек на свете не знал, что Колька успел побывать там в гостях, но, когда четыре дня назад бабка сказала: «Муж убил, сына оставила», он сразу понял, о ком идет речь.

– Тебе кого, мальчик? – спросила бабка.

– Мне его, – сказал Петр и кивнул головой на Кольку. – Выйдешь?

Колька вскочил из-за стола и выбежал.

– Коля! – крикнула мать Вера. – Ты куда? Кто тебе разрешил?

– Я, это, – спохватился Колька, – вот, это друг мой, Петя, у него мать зарезали…

Все трое приподнялись на стульях.

– А ну, идите сюда, – приказал Леонид Борисович.

Колька и Петр переглянулись, но не двинулись с места.

– Я кому сказал? – Леонид Борисович повысил голос.

Они поднялись на террасу.

– Садись, мальчик, – засуетилась бабка Лариса, – чаю попей…

– Не хочу я, – хмуро ответил Петр, глядя в пол, – я попрощаться пришел.

– Уезжаешь? – спросил Колька.

– Тетка к себе берет, в Серпухов, – сказал Петр, – она одинокая, болеет там…

– Так, – сказала бабка тихо, – так это, что, твою маму…

Петр поднял глаза. Кольке показалось, что он ослеп, ничего не видит: из голубых глаза Петра стали белыми, и какая-то в них стояла мутная вода, пленка какая-то.

– Мою, – ответил он.

– Отец ее, что ли, твой? – не унималась бабка.

Петр кивнул и вдруг опрометью бросился вниз по ступенькам, хлопнул калиткой. Колька, не спросившись, побежал за ним.

– Когда вы соображать начнете? – загрохотал отец на терраске. – Кто же так…

Колька догнал Петра у самого поворота, потому что Петр шел быстро, почти бежал, и кулаком вытирал слезы.

– Петь, – крикнул Колька, – обожди, ты куда?

Петр резко остановился.

– Я мамку мертвую видел, – сказал он, плача. – Гроб-то открыли проститься. Она лежит, горло платком замотано. Все равно как девчонка. И тетка говорит: «Шура помолодела».

– А ты? – спросил Колька.

– Я ничего, – задыхаясь, сказал Петр, – я смотрю, и мне ничего. Наклонился к ней, а у нее ресницы – как задрожат!

– Ресницы? – ахнул Колька.

– Ага, – сказал Петр, – словно она хочет глаза открыть, а не может.

Они замолчали.

– Слушай, – Петр вытер мокрую от слез руку о штаны, – я чего пришел? Мамка тогда, когда ты у нас был, сказала, что ты – несчастный. Она все хотела к вам прийти, на родных твоих поглядеть. Она мне сказала, что, если ты им не нужен, мы тебя к нам заберем. Ну вот.

Колька молчал.

– Я пришел, – сказал Петр, – потому что я сейчас уезжаю. Но я потом приеду, когда большим стану, и заберу тебя, хочешь? Будем вместе жить. Как братья будем. Хочешь?

Голос его задрожал.

– Я тебе напишу. Адрес-то ты свой знаешь?

– Знаю, – кивнул Колька, – Мерзляковский переулок, дом шесть, квартира восемнадцать.

– Ладно, – сказал Петр, – я тебе буду письма писать. А эти тебя в два счета отдадут, на фига ты им сдался? – Он мотнул подбородком в сторону Колькиной дачи.

Колька многое хотел бы сказать ему, но что-то не получалось.

– Правда заберешь? – наконец спросил он.

– Правда, – твердо ответил Петр, – ну, до свидания.

– До свидания, – глотая слезы, сказал Колька, – приезжай скорей.

* * *

Луна плыла по небу и качалась, словно ее напоили и она забыла, куда ей плыть. У нее было плачущее сморщенное лицо. Колька подумал, что там, высоко, может быть, тоже живут люди, а раз так, то ведь и они, наверное, умирают и их хоронят. Может, луна напилась на поминках?

За стеной разговаривали отец с матерью. Сначала – негромко, потом мать зарыдала, и тут же раздался грохот, словно кто-то рухнул с кровати, и материнский крик:

– Я тебя не пущу!

– А я тебя не спрашиваю! – Отцовский бас перекрыл все звуки. – Не рви на мне майку!

– У! – отрывисто и хрипло ухнула мать и вдруг закуковала, как кукушка: – Ку-у-у! У-у!

Зажегся свет, и послышалось торопливое шарканье бабкиных тапочек.

– Я тебя убью! – кричала мать в перерывах между «у-у, у-у». – Я найму людей и убью тебя, ты с ней жить не будешь!

– Ну все, – отчетливо сказал отец, – хватит с меня.

И тут же от дома отъехала машина, словно отец впрыгнул в нее прямо из окна. Колька вжался головой в подушку, натянул на себя одеяло. Ночь была теплая, но его затрясло, как в прошлом году, когда он в детдоме болел корью.

Утром они с матерью поехали в город. Глаза людей в электричке были такие, словно ночью никто из них не мог заснуть от боли.

В окне моросил дождь. За всю дорогу Вера не проронила ни слова.

– Мам, – не выдержал Колька, – мы куда едем-то? Домой?

Мать громко сглотнула слюну.

– Нет, – сказала она, – не домой. В другое место.

– Куда? – спросил он.

– Увидишь, – прошептала Вера, и лицо у нее стало такого же красного цвета, как плащ.

Колька вдруг разглядел болячку на материнском подбородке.

Болячка была замазана белым и поэтому стала сильно заметной на покрасневшей коже. На вокзале мать долго дозванивалась куда-то из автомата, потом что-то записала в блокнот. Взяли «левака». В машине так сильно пахло бензином и вином, что Кольку затошнило, и он испугался, что его вырвет. Хотел было попросить, чтобы остановились, но увидел Верины выпуклые неподвижные глаза и промолчал. Через полчаса машина затормозила у голубого дома с костлявыми балконами. В лифте тоже пахло вином, а кнопки этажей были липкими. На пятом этаже кабинка остановилась, и вошла толстая старуха с зонтом и палкой.

– Вниз? – спросила она почему-то злым голосом.

– Наверх, – таким же злым голосом ответила мать.

Старуха промолчала, но вид у нее стал такой, что еще немного – и она изобьет их своим зонтом. На девятом этаже мать дернула Кольку за руку: «Приехали!» Кольку все сильнее и сильнее тошнило.

Мать позвонила в дверь, обитую коричневой клеенкой.

Алла Аркадьевна, совершенно такая же, какой она была месяц назад в Сочи, – только вместо белого купальника на ней был большой и пышный белый халат, – стояла на пороге. За ее спиной висело квадратное зеркало, в котором отражался ее рыжий затылок, кусок шеи с завитком и рядом – красное лицо матери Веры с болячкой на подбородке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.